

сы" (стр. 27). Как раз наоборот: его работа оказывалась в высокой степени полезной... не пролетариату, разумеется, а либеральной буржуазии, идеологические потребности которой он прекрасно, на ее масштаб, обслуживал. Недаром еще в Одессе жены фабрикантов закупают по 200 номеров газеты с его „кухонным“ фельетоном для бесплатной раздачи рабочим (стр. 45—46); лучшего признания „полезности“ не дожدهшься.

Странным образом эти взгляды автора нашли отклик в анонимном предисловии к его книге. Автор предисловия, благодарно умолчавший о своем имени, изображает „представителей столичной прессы“ совершенно в сузальском духе: „Они безудержно пьянствовали в кабаках и притонах, совершенно потеряли социальные перспективы (?), не замечали и не видели нарастающей революционной волны“ и т. д. и т. п. (стр. 5). Одним словом — „буржуазия разлагалась“, как пишут киносценаристы. Налицо полная недооценка роли и значения буржуазной публицистики: они далеко не теряли „социальных перспектив“, они отлично видели нарастающую революционную волну и делали все, что могли, чтоб задержать ее рост. Дело не в том, были ли они кабацкими завсегдатаями или безупречно добродетельными мещанами, — дело в их социальной функции, а именно эта сторона предисловием не раскрыта. Таковы, как они были, — от репортера до редактора, — сотрудники этих газет: организовывали буржуазное общественное мнение и идеологически развращали неустойчивые слои населения. Их работа, дезорганизаторская с точки зрения пролетария, была организаторской для буржуазии.

Книга обещала быть интереснее; мы ждали от автора большего, и он мог дать больше. Может быть, основной виной его является ложная установка книги: отказ от „разоблачений“. „Мне некого разоблачать, — говорит автор, — иных уже нет, а те далеке“. Он не может возвыситься до принципиальной точки зрения: для нас важно „разоблачить“ не Гессена, Ст. Ивановича и др. мелких людшек, — важно разоблачить систему: показать на ряде примеров связь так называемого „независимого общественного мнения“ с банковским капиталом, продажность буржуазной прессы, гнилость всего капиталистического строя, рождающего подобные явления. И такая работа была бы полезна не только для нас, — мы начисто вывели эту грязь, — но и для наших западных товарищей, которые вынуждены еще считаться с влиянием капиталистических газет.

И. Ипполит

**ЛЕОНИД ГРОССМАН — „Записки д'Аршиака“, петербургская хроника 1836 г. Изд. „Пролетарий“, 1930, стр. 382, тир. 4000, ц. 2 р. 35 к.**

Читатель найдет в названной книге тот же материал, который использовал в

свое время П. Шеголев в своей научной монографии „Дуэль и смерть Пушкина“, и приблизительно ту же концепцию трагической гибели поэта. Не избрав для своего повествования беллетристическую форму, автор не воспользовался правом беллетриста на вымысел и почти ничего не присочинил к тому подлинно-историческому материалу, которым он располагал. Пушкин, например, довольно много у него разговаривает, но все его разговоры — искусно сделанная мозаика из подлинных высказываний поэта, поскольку они известны по различным мемуарным источникам. С другой стороны, жена поэта обречена в хронике на немую роль, поскольку свидетельства современников почти не сохранили ее речей. Не будучи художником в собственном смысле слова, Л. Гроссман не взял на себя смелости свободно-творческой трактовки исторических персонажей, как это позволил себе например Л. Толстой относительно Наполеона, Кутузова, Раstopчина и Сперанского, но вместе с тем он тактично воздержался и от той сомнительной отсебятины, которая отличает аналогичные, т. е. монтажные же по существу, работы Мережковского, а в наши дни Ю. Тынянова.

Работа Л. Гроссмана — чистый монтаж, лишь вправленный в рамку формального беллетристизма, и кто знаком с вышеназванной монографией Шеголева, тот, повторяем, не найдет в хронике ничего существенно-нового.

Собственно говоря, книга Шеголева написана достаточно легко и занимательно, чтобы нуждаться в беллетризации; она принадлежит к разряду тех научных книг, про которые принято говорить, что они „читаются, как роман“. И если все же работа Л. Гроссмана имеет некоторые резоны для параллельного литературного бытия, то таких резонов можно усматривать два.

Во-первых, воспользовавшись некоторыми хронологическими совпадениями, автор расширил рамки картины и включил в свою хронику ряд эпизодов, не имеющих отношения к дуэльной истории („дело“ Чаадаева, премьеры „Жизни за царя“, открытие первой в России железной дороги и т. д.). В результате получилось довольно широкое полотно императорского Петербурга того времени. Во-вторых же, — и это самое интересное в книге — повествование ведется от лица атташе при французском посольстве д'Аршиака, который участвовал в пушкинской дуэли в качестве секунданта Дантеса. Никаких „записок“ д'Аршиак на самом деле не оставил, это — просто композиционный прием à la „Повести Белкина“, — прием, который сам по себе должен быть признан в данном случае весьма остроумным: подача общеизвестного материала под углом зрения проезжего иностранца должна обострять и как бы перманентно стимулировать внимание читателя. К сожалению, автор не оказался на высоте найденного приема и почти не использовал заключенных в нем потенциалов для остранения

Литература и искусство, 1930, № 2.  
Институт ЛМЭ Комкадемии. Омск.



тогдашней российской действительности. На протяжении всей хроники есть, кажется, одна только деталь, воспринятая по-иностранному, — это „заунывные напевы... длинноволосых и бородатых жрецов, похожих на мужиков в архангеловых одеждах“ (отпевание Пушкина). Во всем остальном авторство д'Аршиака оказывается голой фикцией, и личность утонченного виконта, прибывшего из столицы мира в полуварварскую страну гипербореев, заслонена фигурой российского литератора, с наивно-провинциальным упованием смакующего былую роскошь придворно-аристократического Петербурга. В хронике много золота, серебра, слоновой кости, гобеленов, шелка, алмазов и драгоценных камней. Особенно утомительно в этом отношении описание придворного бала. „Ушибленный“ его роскошью наш автор заставляет своего виконта замечать ее и тщательно регистрировать даже в такие моменты, когда ему, казалось бы, не до того. „Чем оживленнее и радостнее празднество, тем грустнее его отдаленное и рассеянное звучание. И чувство томящей печали охватило меня, когда я сходил вдоль малахитовых перил дворца Разумовских в сплошной аллее лимонов и лавров, наполняющих воздух своими крепкими и радостными искурениями“ (разрядка наша — *Н. П.*).

Невольно закрадывается подозрение, что мнимое авторство д'Аршиака понадобилось Л. Гроссману не столько для читателя, сколько для него самого, как некая ширма, снимающая с него ответственность за то что и как он увидел в Петербурге времен смерти Пушкина. Иностранцу-дипломату естественно было наблюдать прежде всего парадный фасад николаевской России, и в соответствии с этим наш хроникер только этим фасадом и занят. Обратная сторона медали, если не считать закулисных интриг против Пушкина, представлена двумя лишь эпизодами: мятарствами одного свободомыслящего профессора и прогнанием сквозь строй одного унтер-офицера. Если первый эпизод включен в хронику тем, что преследуемый профессор, будучи французом по происхождению, обратился за защитой во французское посольство, то сцена экзекуции, сделанная к стати неплохо, явно выпадает из хроники, ибо мотивировка, с помощью которой она введена („получив разрешение военного министра присутствовать при экзекуции, мы поднялись ночью...“) — мало правдоподобна.

Эта композиционная неувязка лишь подчеркивает общую „фасадность“ книги. Но если подбор материала в хронике до известной степени оправдан вымышленным авторством д'Аршиака, то зато подача его мало вяжется с личностью „атташе при посольстве“ и лежит всецело на совести истинного автора хроники.

В самом деле, трудно допустить, чтобы аристократ-парижанин находился в каком-то неустанном восторге перед всем тем, что он видел в салонах и гостиных русской

столицы. Вопреки обещанию дать „живой и правдивый рассказ, чуждый лести и готовый на сатиру“ (стр. 139) и несмотря на традиционно-либеральную тенденцию в трактовке дуэли Пушкина хроника в сущности является эстетической апологией николаевщины. Эстетизации подвергнута не только вещная обстановка. Вопреки деканонизаторским традициям русской художественной историографии здесь эстетизированы и люди, как бы ни были подчас однозны их имена. Отдавая только небольшую дань портретному реализму, Л. Гроссман, однако, рисует всех вельмож неизменно импозантными и как бы героизированными в стиле императорского Рима.

„Своеобразный фактический премьер российский самодержца... Старый боевой генерал... Жесты его отчетливы и уверены, но взгляд рассеян, а в равнодушной усмешке чувствуется подчас некоторая утомленность. Бремя царской дружбы, видимо, дает себя знать“. Это — о Бенкендорфе.

„Неотразимый светский лев, первый танцор и великий сердсеед, он одерживал в гостиных и будуарах не менее блестящие победы, чем на полях битв или в кабинетах министров. Сестра Наполеона, принцесса Полина Боргезе, стала его любовницей“. Это — о Чернышове.

Нечего и говорить о самом Николае: „Говорят, некоторые фрейлины трепещут от приближения этого неумолимого, как гильотина, человека и падают в обморок под его леденящим взглядом медузы“.

О великом князе Михаиле Павловиче: „Рыжекудрый Нерон российской гвардии“.

Поистине все эти „мужи“ не могли пожелать для себя иного живописца, чем наш восхищенный автор, любовно создающий для них и соответственный антураж: „Каватина из Ченерентолы оборвалась на высоком взлете любовной мольбы. Все были зачарованы ласкающим звучанием этой сладостной мелодии, соединенной с тончайшим вкусовым ощущением от апельсиновых и земляничных желе, саовских бисквитов, мороженого и тортов“.

Чем не античный симпозиум!

Данная в хронике картина придворно-аристократического Петербурга зализана и так густо покрыта эстетическим лаком, что ее подлинная сущность оказывается непроницаемой.

Самый стиль книги какой-то лаковый. В „Записках д'Аршиака“ в связи с восхищенной приподнятостью повествования всегда жеманному автору понадобилась сугубая эlegantность. А так как трудно быть сугубо эlegantным на протяжении 400 страниц, то временами эта старательная эlegantность переходит в прямую банальность. Это чаще всего дает себя знать на портретах. Вот каков портрет Дантеса, в жилах которого якобы скрестилась кровь „всевозможных титулованных фамилий старой Германии“: „Очертания скандинавских скалистых островов словно отпечатлелись на энергичных изломах его про-



филя, и стальные отблески балтийских волн, казалось, отсвечивали на этом лице своей холодной игрою. И пока он стоял предо мною, лучезарный и ослепительный, скрестив свои перчатки с раструбами над резною гардою эфеса, высоко подняв голову и солнечно сверкая зеркальной поверхностью своей брони, мне вспомнился Фритиоф старинных изображений, воин и завоеватель в крылатом шлеме и сквозной кольчуге, струящейся по его кованым членам" (стр. 65). И еще о нем же: "Я заметил, что когда Дантес говорит о женщинах, лицо его принимает хищное выражение. Ноздри слегка раздуваются, глаза вспыхивают жестоким огоньком, даже его прекрасно очерченный рот получает резкую и неприятную складку" (стр. 76).

Хуже всего то, что наш пушкинист таким же образом рисует и Пушкина: "Мягкие белоснежные воротнички его сорочки контрастно выделяли темнеещее руно его штаб-бриановских бакенбард, еле прорезанных первыми серебряными нитями. Черный атлас широкого шейного банта, повязанного à la Байрон, блестел изломами пышных складок, ниспадаая на белый батист его жабо, замкнутый высокими отворотами сюртука. Перед гаснущим камином и оплывающими свечами он иногда, словно в изнеможении, опрокидывался на спинку глубокого кресла, свешивая с подлокотни свою узкую руку, еле сжимающую удлинёнными пальцами душистый окурок догорающей сигары. Струящийся узенький дымок словно обрамлял своей колыхающейся синей тесьмою кудрявую голову поэта в беспрерывном блистании и тревоге охватывающих его видений" (стр. 149).

Можно вообразить, как досталось бы художнику-живописцу, вздумавшему написать портрет Пушкина в соответствии с приведенным текстом! И какие слова: руно, ниспадаая, обрамлял! "Живой Пушкин", до которого с таким трудом добиваются наши пушкинисты, оказался заживо погребенным под мишурой дешевой эстетики.

Стиль книги вообще страдает каким-то эстетическим гиперболизмом. Взавши с самого начала неверный, преувеличенно "изящный" тон, автор не мог уже снизить его, а так как словесно-изобразительный запас, как он ни богат у него, оказался все же недостаточным для слишком длительного напряжения, обусловленного самым объемом книги, то в результате, надорвавшись стилистически, он вынужден очень часто прибегать к громким, но бессодержательным эпитетам, как то: огромный, колоссальный, грандиозный, замечательный, невероятный, непередаваемый, неподражаемый, необыкновенный, блестящий, чудесный, прелестный и т. п. Растратив все наличие словесной монеты, наш стилист,

злоупотребляя подобными прилагательными, пишет в сущности в кредит.

Очень часты в хронике штампованные ("постоянные") эпитеты: быстрота лихорадочная, высота головокружительная, грохот оглушительный, пена клокочущая, тоска невыразимая и т. п. Плечи у женщин непременно скульптурные, хотя бы эта скульптурность плеч была в явном противоречии с возрастом и комплекцией их обладательницы. Такой курьез имеется на стр. 118: "В комнату входила полная пожилая дама в светлом вечернем наряде с широким придворным декольте, обнажающим ее скульптурные плечи".

Резюме: в книге много эрудиции, она довольно складно смонтирована, но это насквозь эстетская, неклассовая трактовка эпохи с позорным любованием николаевщиной; с приукрашиванием этой эпохи царского деспотизма, образец того, как не следует писать исторические повести.

Н. Прияшников

Рецензией т. Ф. Звойдина журнал открывает регулярное рецензирование книг о социальном строительстве и социальном развитии. Настойчивая просьба к издательствам: как можно скорее присылать книги по этим вопросам, написанные рабочими, а также вышедшие в провинции. Этим книгам будет уделяться особое внимание.

Редакция.

Н. ХАРИТОНОВ. — Завод-знаменосец. Предисловие И. Д. Кабакова; изд. газеты "Уральский рабочий", Свердловск, 1930, стр. 109, тир. 20 000, ц. 50 коп.

Многие книги "именитых" писателей о социалистическом строительстве и социальном развитии, порою даже не законченные, порой едва-едва вышедшие в свет, очень часто скучные и непродуктивные — уже процензированы. Отклики на них появляются достаточно быстро. Книга Харитонова, насколько нам известно, еще не удостоилась быть замеченной центральной прессой.

А о книге Харитонова стоит писать. Имя этого очеркиста и фельетониста "Уральского рабочего" мало знакомо широкому читателю. Сама книга отнюдь не блестяща по стилю<sup>1</sup>. В ней нередки корявые обороты речи вроде "из... головы лезут... мысли, захватывающие..." и т. д. Она страдает длиннотами, чрезмерным пристрастием к документам, в ней, наконец, рассказано не все, что следовало рассказать. И несмотря на это "Завод-знаменосец" — книга полезнейшая и не только для читателя, но и для пишущего, книга, заражающая действительно боевым энтузиазмом социальное развитие.

<sup>1</sup> Употребляем это слово в узком его значении.

И как все, что вышло из-под пера А. Гросмана она блестящая, но — по пословице "не все то золото, что блестит" — её блеск в значительной мере от эстетического лака.